

Андрей Пелипенко:

«Армия в России — это всегда больше, чем армия»

Доклад Игоря Моисеевича Клямкина представляется мне одним из самых глубоких, содержательных и эвристичных среди тех, что звучали на нашем семинаре. Значение «милитаристской» темы в российской культуре явно недоизучено и недооценено. Уже одно это вкупе с глубиной концептуального видения проблемы полностью искупает любые придирки к «фактуре», которые мог бы высказать дотошный историк. Но я не историк и потому, не вдаваясь глубоко в исторические обстоятельства и не притязая на системность анализа, кратко выскажу несколько культурологических суждений по теме.

Разумеется, милитаристская модель общества присуща не только России. Первичный и наиболее глубокий пласт соответствующих ментально-культурных установок восходит к очень древним и универсальным историческим этапам. И эти установки впоследствии уже не исчезают, сохраняясь во всех культурах. Отказ от линейно-прогрессистских схем исторического развития сделал возможным важное наблюдение о том, что ментальные программы, соответствующие тем или иным историческим этапам, не стираются последующим развитием. Латентно присутствуя в глубинных слоях ментальности, они либо «ждут своего часа», либо подспудно просачиваются «наверх», преломляясь и трансформируясь в соответствии с наличными условиями доминирующего уклада. Так *всеобщие* архаические основания культуры оборачиваются *частными* моделями в локальных культурных системах.

Всеобщие основания милитаристского сознания восходят к эпохе верхнего палеолита в его не столько хронологическом, сколько стадийном понимании. Тогда, в верхнем палеолите, резкая половозрастная (прежде всего, гендерная) поляризация общины поставила первобытный социум на грань дезинтеграции, способствуя тем самым трансформации мужских охотничьих программ в военные. Что, в свою очередь, способствовало началу истории собственно военных столкновений. К этому времени относится и формирование основ соответствующего мифоритуального комплекса, фрагменты и проекции которого получали далее в истории самое разнообразное воплощение и локальные версии развития. Главные компоненты этого комплекса представляются следующими:

- *образ Врага*. Истоки картины мира, где образ Врага является неотъемлемой и необходимой частью реальности, имеют двойственную природу. С одной стороны, это закономерное осмысление в мифе еще животной по своим основаниям *ненависти к двойнику* — порождению присущей исключительно человеку (и его предкам, начиная по меньшей мере с архантропов) внутривидовой агрессии. С другой стороны, миф Врага во многом зиждется на взрывном развитии охотничьих практик и охотничьей автоматике в верхнем палеолите.

Правда, отношение к охотничьей добыче в ходе трансформации охотничьих практик в военные существенно изменилось. Враг — не просто добыча. Это не промысловое животное, чье физическое возрождение и умножение следует обеспечивать соответствующими магическими действиями. Враг — это существо, самим своим существованием отрицающее единственно правильный миропорядок и ритуальные основы космоса. И магия медиации с запредельным миром по поводу Врага — это не обеспечение его возрождения. Это, наоборот, блокировка возможного воплощения его души (точнее психического субстрата) в новом теле. Потому, в частности, убивая врага, первобытный охотник тотчас же совершает его ритуальную кастрацию. Но именно в таком качестве образ Врага и оказывается необ-

ходим. В условиях «разгерметизации» изолированных общинных микро-социумов без этого образа консолидация общины (прежде всего, мужской ее части) и осознание идентичности могло бы быть чрезвычайно затруднено;

- *культ победы*. Военная победа отмечает точку в мифическом времени, связанную с сакральным обновлением космоса. У народов, «полноценно» прошедших неолитическую стадию развития, первобытная военная ритуалистика сакрального обновления оказалась вытеснена календарной, основанной на циклическом умирании и возрождении природы. А народы кочевые или получившие культурные достижения неолита из третьих рук остались во многом верны культу военной победы со всеми вытекающими отсюда социокультурными последствиями;
- *идентификация человека (мужчины) как воина*. Этот момент, думаю, в комментариях не нуждается.

В эпоху перехода от архаики к цивилизации военный мифоритуальный комплекс окончательно оформился в своих универсальных функциях. Таких как:

- *консолидация социума*;
- *самоопределение (идентификация) по отношению к Врагу (Иному)*;
- *мобилизация культурного ресурса: демографического, технологического, информационного и других*.

Не случайно ряд исследователей связывает с войной и само становление ранней государственности, хотя мне эта концепция представляется сомнительной или по меньшей мере недостаточной. Кстати, мобилизация культурного ресурса в ситуации войны решает еще одну чрезвычайно важную для архаического и постархаического сознания проблему. А именно — проблему *блокировки расширения этого ресурса* или, иными словами, сохранения мифоритуального *status quo*. Потребность в таком сохранении диктуется стремлением не умножать число вещей и смыслов во имя сохранения традиционного мифоритуального ядра и каналов медиации с запредельным миром. Потому что любые новые вещи и смыслы оттягивают на себя энергию переживания, которая должна быть консолидирована направлена в ритуальные практики.

Таковы в самых общих чертах древние мифоритуальные основания милитаристского сознания. Каким же образом проявились и преломились они на российской почве? В чем заключается специфика именно российского милитаризма?

Разумеется, пошлые разговоры о «бабьей душе» России, млеющей от вида гусарских усов и бравурных звуков военного марша, в нашем контексте неуместны. Мне представляется, что специфику здесь следует искать не в самих моделях и культурных функциях милитаристских смысловых комплексов, — они практически везде одинаковы. Специфика — в их наложении на российскую социокультурную систему и их конфигурировании в ней.

В частности, понимание военного ремесла как способа увильнуть от необходимости работать на цивилизационный ресурс и расширять его распространено универсально. Но историко-культурные модели этой бессознательной установки для каждого общества специфичны. Специфичен и сам концепт *военной службы*. В России идея служения вообще и военной службы в частности приобрела некую метафизическую окраску. Служба — программа, не имеющая конкретной или конечной цели. Это Служба ради самой службы, смысл которой относится к сакральным основаниям мироздания и не подлежит профанирующей рационализации. Конечно, в такой позиции тоже нет ничего исключительно российского. Эффект исключительности возникает в силу обстоятельств бытования этой парадигмы в контексте российской культурно-исторической реальности.

АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА:

Русская специфика что-то не ухватывается...

Андрей Пелипенко:

Специфичен именно контекст. Поясню это на примере лишь одного историко-культурного обстоятельства, о котором шла речь в моем докладе на семинаре, — на примере присущего «Русской системе» и ею непреодолимого социокультурного раскола.

В расколоте российского обществе есть два героя-медиатора — Власть и Армия. Первый «эмануирует» в общество в виде чиновничьей иерархии, и потому медиатором, связующим полюса Должного и Сущего, Власти и подвластного, выступает чиновник. Второй же имманентный медиатор — излюбленный герой народных сказок — солдат. Он также причастен к обоим мирам: Служба связывает его с трансцендентными началами Власти и Государства, но при этом он, как говорится, «плоть от плоти народной» со всеми вытекающими отсюда выводами.

Этим объясняется и то, что армия в России, включая, разумеется, и ее советский период, — это всегда больше, чем армия. Функция общекультурной медиации здесь настолько велика, что собственно военные критерии даже отходят на второй план. Армии прощают то, что она плохо воюет, что в силу неизжитости архаических комплексов в ней ценится не столько профессионализм, сколько преданность и совершенно по особому счету — жертвенность. В метафизике русской Службы на первом месте — самопожертвование, на втором — героизм и лишь на третьем — практическая польза. Этому тоже есть свои объяснения. Но они требуют отдельного разговора.

Специфика состоит еще и в том, что универсальная функция идентичности по модели «мы — враги» в России оказывается неизменно актуальной в силу отсутствия или слабой выраженности иных форм идентичности. Таких, как национальная (не путать с этнической), сословная, корпоративная и другие. Проще говоря, в России более чем во многих других обществах, достигших аналогичных стадий исторического развития, источником квазиидентичности выступает консолидация в противостоянии Врагу. Потому российская власть дня не может прожить без образа Врага, ибо без него тотчас теряется тотальный контроль над обществом.

Соглашаясь с автором доклада, отмечу, что милитаристская модель организации общества (а не только государства) в России исчерпывает себя на наших глазах. А иных форм преодоления общественного раскола не просматривается. По-видимому, милитаристское сознание, как и стоящая за ним общекультурная парадигма служения, терпят окончательный крах.

АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА:

Спасибо, Андрей Анатольевич. Теперь я, с вашего разрешения, предоставлю слово самому себе.

Игорь Клямкин:

У меня по ходу одно уточнение. Если судить по пословицам и поговоркам, то к солдату на Руси действительно относились с симпатией. Ему прощали даже откровенные злоупотребления по отношению к населению: он, мол, хоть и казенный человек, но одновременно и свой, и живется ему тяжело. А к армии как таковой в досоветские времена отношение было другое. Население, в отличие от поэтов и публицистов, ее не славил и не героизировало, армия в его